



"Верный признак опасности - число разделяющих ваши взгляды," - писал Бродский в одном из своих эссе. Как он чувствовал себя, обнаружив, что число это оказалось весьма немалым? Ныне почившая газета "Гуманитарный фонд" как-то опубликовала под ехидным заголовком "Приношение Бродскому" тексты чуть ли не десятка авторов "от Москвы до самых до окраин",

дружно следующих образцам недавнего нобелевского лауреата.

Как он себя чувствовал, оказавшись во главе толпы одиночеств? Едва ли хорошо. Вспоминается видеозапись одного из последних выступлений Бродского - 9 апреля 1995 в Нью-Йорке. В зале человек 600, но похоже, что это, в основном, публика с Брайтон-Бич, и слова Бродского становятся все более ироничными. Ибо его донимают вопросами, например, об отношении к авторской песне и бардам. Или такой вопрос: "Не собираетесь ли Вы вернуться в Россию, последовав примеру Цветаевой и Солженицына?" После двухсекундного молчания: "Следовать примеру Цветаевой не собираюсь" - то есть вешаться не буду, не ждите... Еще через две секунды: "Следовать примеру Солженицына тоже не собираюсь."

Однако у поэта всегда есть возможность сменить кожу и отбросить нарастающий хвост, хотя это и требует времени. Бродский был достаточно "многопишущим" автором. Но в выходящем сейчас четырехтомном собрании сочинений 1988 годом датировано 8 стихов, 1989 - 10. 1990-1992 - 6 стихов за 3 года. Пауза кончается в 1993 - 40 стихов. 35 из них и еще 13 стихов 1994 года (и один 1990) составили сборник "В окрестностях Атлантиды" (СПб, 1995), оказавшийся последним прижизненным сборником поэта.

где не слишком заметна персона наблюдающего: "Я предпочитаю не говорить "я", не говорить о личности, а просто описать то, что происходит. Не быть восторженным или сентиментальным. Понимаете? Я действительно стараюсь обезличить первое лицо, насколько мне это удастся".

Разумеется, Бродский и ранее порой делал "шаг в сторону от собственного тела", и речь идет не о переломе или переходе на диаметрально противоположные позиции, а об эволюции - но значительной. В "В окрестностях Атлантиды" нет ни "Пятой годовщины", ни "Стихов о зимней кампании 1980-го года", ни "Резиденции", а какие-то определенные упоминания о политических событиях, власти, советской жизни присутствуют всего в 4 стихах из 49.

Окончательный расчет с этим произошел раньше - в "Представлении" - и более смехом, чем ненавистью. Исчезли декларации о жречестве и служении родной словесности - стоит ли подчеркивать высокими словами необходимое



ДРУГОЙ БРОДСКИЙ

условие жизни, стоит ли придавать себе так

И это уже другой Бродский.

Первое, что заметно - еще до чтения - при сравнении "В окрестностях Атлантиды", к примеру, с "нобелевским" сборником "Урания" - сильное упрощение графической структуры стиха. Разнообразие строф "прежнего" Бродского огромно. В новом сборнике две пятых стихов записаны обычной четырехстрочной строфой с парной или перекрестной рифмовкой - в "Урании" таких единицы. Бродский в состоянии зарифмовать все со всем. Но в новом сборнике более пятой части стихов - белые (в "Урании" - всего 3). В одном из своих последних интервью Бродский говорил: "Я склоняюсь к нейтральности тона и думаю, что изменение размера свидетельствует об этом. И если есть какая-то эволюция - то она в стремлении нейтрализовать всякий лирический элемент". Вероятно, именно для этого Бродский отказывается от слишком эффектных, бросающихся в глаза рифм и типов строфы. Центр тяжести новизны и смысла переносится в более трудноощутимую область.

Из стихов постепенно утекает одно ранее весьма частое местоимение. На страницах "В окрестностях Атлантиды" "я" (или такое "ты", которое явно подражает обращению к самому себе) встречается менее, чем в сорока процентах стихов, в "Урании" - более, чем в шестидесяти, в раннем Бродском этот процент еще выше. Пройдя через одиночество, разрыв всякой связи и утрату всякой надежды, Бродский вышел к жизни "заодно с миром", жизни, не особенно озабоченной перемещениями собственной персоны в пространстве или разрушениями, наносимыми этой персоне временем. Бродского занимает уже не собственное участие в событиях, а само событие, как оно происходит без него. "Томас Транстремер за роялем" или "Пристань Фегердала". Причем, нет большого различия между событиями наблюдаемыми и воображаемыми - как "Дедал в Сицилии" или столкновение армий Суллы и Митридата в "Каппадокии". Меняется направление взгляда. Ранее Бродский наблюдал себя глазами разных предметов - порой столь неординарных, как проглатываемый чай или червяк в птичьем клюве. Теперь Бродский наблюдает предметы.

При виде этих перемен вспоминаются слова Барта: "Современная поэзия - это объективная поэзия". Вероятно, Бродский двигался в том же направлении - от описаний лично пережитого к пространству смыслов,

много значения? Стихи становятся более концентрированными, средняя длина стиха с 67 строк в "Урании" уменьшается до 31 строки. По наблюдениям В.Полухиной - одного из составителей готовящегося к печати "Словаря тропов Бродского" - существенно возрастает насыщенность текста метафорами. Разумеется, все это не способствует доступности текстов.

"Всенародная любовь" к Бродскому объясняется во многом тем, что в его стихах узнавал самого себя и средней советский интеллигент - свою серую жизнь, в меру ироничную и в меру культурную. Бродский возвращал ему обыденность его существования, гармонизированную средствами поэзии - и потому более переносимую. Теперь речь пошла о менее обыденных вещах и способах видеть.

Бродский окончательно отказывается от обычно таких дорогих человеку претензий к миру, принимает то, что "мир отнюдь// создан не ради нас". Ведь человек и так - даже просто смотря на море - больше берет у него, чем дает ему ("Моллюск"). Принятие мира - без умиления перед ним. "Но землю, в которую тоже придется лечь, тем более - одному, можно не целовать." И "чем ближе тело к земле, тем ему интересней, // как сделаны эти вещи". Острый взгляд, сформированный прежним опытом Бродского, все более привлекает не общее течение событий, но их подробность. "Улики становятся важнее преступления, дни - // интересней, чем жизнь".

Бродский - "на раскопках грядущего, ... то есть - жизни без нас". А время нуждается в вещах более, чем вещи во времени ("Архитектура"). И само время узнается по вещам: "она надевает чулки - и наступает осень". Но как угнаться смертному человеку за древней стрелой, которая стремительно мчится во времени, даже покоясь в музейной витрине? Бродский стремится найти эту возможность.

Предметы и события переговариваются, и морзянка дождя пытается что-то сообщить мозгу - но ее расшифровывает только шифер кровли. И единственный способ ее услышать - встать на точку зрения существующего и происходящего. Например, смотреть "с точки зрения вечернего океана". Встать до такой степени, чтобы почувствовать, что материю-эстету действительно лучше в море. Все меньше холода и препарированного взгляда исследователя, все больше сопереживания. Но всякий ли последователь Бродского - читающий или пишущий - способен на отрешение от своей персоны и вовлеченность в Другого?

Живущий в мире с вещами умеет опираться на них - на текучесть моря и твердость дерева ("как защита от кражи, тем более - разговора, это лучше щеколды и крика "держите вора" - заметим, как изменился враг - уже не тиран, но обыденный

пустой разговор, который хуже кражи). Рубашка в шкафу - ангел-хранитель ("Ангел"). Шкаф - если дать волю мебели - хорошая защита от надоевшей жвачки масс-медиа об эресе, расе, вирусе. Сохраняя свое частное пространство, человек держит оборону в союзе с вещами. Сохраняя и их тоже. Оттуда, где "эпидемия насморка, так как цветы не пахнут, // и ропот листвы настойчив, как доводы дурачья, // и город типа доски для черно-белых шахмат, // где побеждают желтые, выглядит как ничья", незамечаемые, предметы уходят навстречу личности. "Чтоб никуда не ломиться за полночь на позоре, // звезды, не зажигаясь, в полночь стучатся к вам." И сама бесконечность уязвима - хотя бы из-за явной нехватки в трезвых исследователях ("Письмо в Академию"). Интересно, как при понимании того, что окружающее нуждается в нас, Бродский сближается с Рильке - поэтом вроде бы весьма и весьма несходным.

Зеленая спокойная трава покрывает "вопли вихря враждебного, яблочка, ругань кормчего" - а пишущий человек помогает ей. А предметы помогают ему - и страна Голландия становится личной человеческой памятью.

Некоторые из говоривших о Бродском связывали длину его стихов именно с отсутствием контакта с чужим опытом, из-за чего Бродский вынужден сам сказать все возможное, все ощупать собственной речью. Если это так, то не служит ли уменьшение длины стиха у позднего Бродского еще одним доказательством того, что контакт с чужим опытом все-таки был им достигнут? И далее, не является ли поздний Бродский еще одним доказательством того, что контакт все-таки возможен - посредством поэзии - несмотря на сложность этого опыта и его несводимость к нашему?

Внимание к самостоятельному существованию предметов и событий не укладывается в те направления постмодернизма, которые стремятся рассматривать предметы как чистые знаки, отсылающие к чему-то еще, а события - как фантазмы, где не отыщешь различия между бывшим и небывшим. Бродский остается при том, что поступок есть. И он говорит с тем, что есть - с архитектурой, например.

"Как правило, заканчивающий стихотворение поэт значительно старше, чем он был, за него принимаясь," - писал Бродский. Его поздние стихи требуют такой же активности - ведущей к росту - и от читателя.

"Помянем нынче вином и хлебом // жизнь, прожитую под открытым небом, // чтоб в нем и потом избежать ареста // земли - поскольку там больше места". Жизнь избегает ареста, только меняясь. Это и есть путь в небо - Бродского и других, тех, кто сумеет.

Александр Уланов